

М.А. Шолохов

Бахчевник

I

Отец пришел от станичного атамана веселый, чем-то обрадованный. Смех застрял у него под густыми бровями, губы морщились от сдерживаемой улыбки; таким, как нынче, давно не видал Митька отца. С тех пор как пришел он с фронта, постоянно был суров, нахмурен, щедро отсыпал четырнадцатилетнему Митьке затрешины и долго и задумчиво турсучил свою рыжую бороду. А нынче, как солнышко сквозь тучи глянуло, даже Митьку, подвернувшегося под руку, сунул с крыльца шутливо и засмеялся:

— Ну, ты, висляй!.. Беги на огород, кличь матерю обедать!

За обедом сидели всей семьей: отец под образами, мать прижалась на краешке лавки, к печке поближе, а Митька рядом с Федором — старшим братом. Под конец, когда отхлебали реденькие постные щи, отец бороду разложил на две щетинистые половины и снова улыбнулся, морща синеватые губы:

— Должон семью с радостью поздравить: нынче меня назначили комендантом при военно-полевом суде у нас в станице... — Помолчал и добавил: — В германскую войну лычки тоже недаром заслуживал, офицерство и мои храбрые отличия не забыты по начальству.

И, багровея, густо наливаясь кровью, сверкнул на Федора глазами:

— Ты что же, сволочь, голову опустил? Не рад отцовской радости? А? Ты у меня, Федька, гляди!.. Думаешь, я не вижу, как ты нюхаешься с мужиками? Через тебя, подлеца, мне атаман в глаза стрянет. «Вы, — говорит, — Анисим Петрович, действительно блюдете казачью честь, а Федор, сынок ваш, с большевиками якшается, двадцать годов парню, жалко, может пострадать...» Говори, сукин сын: ходишь к мужикам?

— Хожу.

Дрогнуло у Митьки сердце, думал — ударит отец Федора, но тот только перегнулся через стол, кулаки сжимая, рявкнул:

— А знаешь ты, красноармейская утроба, что завтра мы твоих друзей арестуем? Знаешь ты, что портного Егорку и кузнеца Громова завтра же расстреляют?

И опять услышал Митька от побледневшего брата твердое:

— Нет, не знаю, но теперь буду знать.

Не успела мать загородить собою Федора, не успел Митька вскрикнуть, как отец, размахнувшись, кинул тяжелую медную кружку. Обломанная ручка острым краем воткнулась Федору повыше глаза. Тоненькой цевкой далеко брызнула кровь. Молча Федор закрыл рукой кровью залитый глаз. Мать, стоная, обняла его голову, а отец с грохотом опрокинул скамью и вышел из хаты, хлопнув дверью.

До вечера сутилась мать. Из сундука достала связку сушеной рыбы, насыпала в сумку сухарей, потом присела у окна, латая Федорове белье. Проходя мимо, видел Митька, как мать, голову уткнувши в ворох белья, сидит неподвижно, лишь плечи у нее под рваной ситцевой кофтенкой судорожно сходятся и расходятся.

Затемно пришел из станичного правления отец и, не ужиная, не раздеваясь, лег на кровать. Федор, стараясь не скрипеть половицами, на цыпочках прошел в кладовую, достал седло, уздечку и вышел на двор.

— Митя, поди сюда!

Митька загонял телят, хворостину бросил, подошел к брату. Смутно догадывался он, что Федор хочет уехать за Дон к большевикам, туда, откуда каждую зорю плывет и волнами плещется над станицей глухой орудийный гул. Спросил Федор, отводя глаза в сторону:

— Ты не знаешь, Митяй, конюшня заперта?

— Запертая... А на что тебе?

— Надо, значит. – Помолчал Федор, посвистал сквозь зубы и неожиданно зашептал:

— Ключи от конюшни у отца под подушкой... в головах... выкрадь их... я хочу ехать...

— Куда?

— В Красную гвардию служить... Мал ты еще, после поймешь, на чьей стороне правда живет... Ну так вот, еду я воевать за землю, за бедный народ и за то, чтоб все равные были, чтоб не было ни богатых, ни бедных, а все равные.

Выпустил Федор из рук Митькину голову, спросил строго:

— Возьмешь ключи?

Ответил Митька не колеблясь:

— Возьму, – повернулся к Федору спиной и, не оглядываясь, пошел в хату.

В горнице полутемно, тягучее жужжание засыпающих на потолке мух. У дверей скинул Митька башмачишки, приподымая за ручку (чтобы не скрипнула), отворил дверь и мягко зашлепал босыми ногами к кровати.

Головой к окну навзничь лежит отец, одна рука в кармане, другая свесилась с кровати, ноготь, большой, обкуренный, в половицу упирается. Затаив дыхание, подошел Митька к кровати, остановился, прислушиваясь к булькающему храпу отца. Тишина, густая и недвижимая... У отца на рыжей бороде хлебные крошки и яичная скорлупа, из раззявленного рта стервятно разит спиртом, а где-то на доньшке горла хрипит и рвется наружу застрявший кашель.

Протянул Митька руку к подушке, а у самого сердце, не останавливаясь: тук-тук-тук-тук...

И кровь, приливая к голове, звенит в ушах колючим трезвоном. Сначала один палец просунул под засаленную подушку, потом другой. Нашупал скользкий ремешок и холодную связку ключей, потянул к себе потихоньку, а отец вдруг черк рукой Митьку за шиворот:

— Ты зачем крадешься, стервец? Я тебе чупрыну в два счета оболтаю!

— Батя! Родненький! Я за ключами от конюшни... Будить не хотел...

Скосил отец на Митьку припухшие, желтизною налитые глаза.

— А зачем понадобились ключи?

— Кони что-то нудятся...

— Так и говори... – Отец кинул на пол связку ключей и, обернувшись к стене лицом, вздохнул и минуту спустя захрапел снова.

Митька — опрометью из хаты на двор, к Федору, прижавшемуся под навесом сарая. Сунул ему в руки ключи, спросил:

— А какого коня возьмешь?

— Жеребчика.

Вздохнул Митька, следом за Федором шагая, сказал вполголоса:

— Федя, а ить меня батька-то заперет?..

Промолчал Федор, молча вывел из конюшни жеребчика, оседлал, долго ловил ногою непослушное стремя и, уже выезжая из ворот, прошептал, свесившись с седла:

— Терпи, Митяй! Горе мыкать не век будем, а отцу, Анисиму Петровичу, перекажи моим словом: коли тронет он тебя или мамашу хоть пальцем, — лютую расправу на него наведу...

И выехал из ворот, торопя жеребчика в дальнюю путину, а Митька за плетнем присел на корточки, хотел поглядеть было вслед Федору, но глаза застлала соленая пелена и удушье перехватило горло.

II

Отец захлебывается в горнице клокочущим храпом. Встал Митька раньше раннего, обротал Гнедого, к Дону поехал напоить и искупать коня-работягу. Под копытами Гнедого шуршит, осыпаясь, присохший мел, съехал под яр к воде, разнуздал коня, сбросил одежду, ежась от мглистой утренней сырости, и услышал, как над водой где-то далеко-далеко растаял охнувший гул и, перекатываясь, пополз по Дону. С головой окунаясь в воду, пронизанную колючим утренним холодком, улыбнулся Митька, подумал: «Теперь Федор поди у большевиков уже... В Красногвардии службу ломает...»

Перекинулись мысли на дом, на отца, и разом, как искра на ветру, потухла радость. Ехал обратно домой сгорбившись, померкли Митькины глаза.

Уже подъезжая к дому, подумал: «Задать бы стрекача туда... к большевикам... правда у них живет, говорил Федор... С ним бы увязаться. А отец мне нынче сдерет шкуру... юшку красную пустит из носу...»

У крыльца снял с коня узду и медленно вошел в хату. Отец из горницы сипло:

— По какой причине жеребчика не водил купать?

Глянул Митька мельком на мать, пристывшую возле печки, почувствовал, как кровь торопливо уходит к сердцу.

— Жеребчика нету в конюшне!..

— Где же он?

— Не знаю.

— А Федор где?

— Не видал.

В горнице, обуваясь, шаркает сапогами отец. Через кухню прошел в кладовую, сверкая припухшими от сна глазами.

— Где седло?.. – загремел из сенцев.

Стал Митька поближе к матери и, как бывало давно, в детстве, уцепился за материну руку. Вошел отец в кухню, в руках комкает кожаный ремень.

— Ты кому ключи отдал?

Мать собой заслонила Митьку.

— Не тронь его, Анисим Петрович. Ради Христа, не бей!.. Аль не жалко сына?

— Пусти, чертова сволочь!.. Тебе говорю аль нет?..

Оттолкнул мать в сторону, Митьку повалил на пол, бил ногами деловито, долго, жестоко, до тех пор, пока перестали из Митькиного горла рваться глухие, стонущие крики.

III

Все слышнее и слышнее становился орудейный гул. По утрам, когда прогоняли табун на попас, долго сидел Митька под старым ветряком на прогоне. От ветра на крыше ветряка повизгивала и скрежетала жесь, крылья скрипели тягуче и нудно и, покрывая все робкие звуки, где-то за бугром басовито ухало: бу-у-ух!..

Рокочущий густыми переливами гул долго таял за станицей в ярах, задернутых пред-рассветной голубизной. Через станицу утрами тянулись к Дону обозы со снарядами, патронами, колючей проволокой. Обрато везли израненных, завшивевших казаков, сваливали их на площади, возле станичного правления. Любопытные куры заботливо загребали папиросные окурки, закровяненные бинты, вату с комками запекшейся крови и внимательно прислушивались к стомам, плачу, хриплым матюканьям раненых.

Митька старался не попадаться отцу на глаза.

Позавтракавши, уходил с удочками к Дону, сидя на берегу, смотрел, как по мосту двигалась конница, громыхали тачанки, гребла морозную пыль пехота. Возвращался

домой в сумерках. Вечером в станицу пригнали толпу пленных красногвардейцев. Шли они тесно, скучившись, босые, в изорванных шинелишках. Казáчки выбегали на улицу, плевали в серые, запыленные лица, похабно ругались под грохочущий хохот казаков и конвойных. Шел Митька следом, глотал едкую пыль, взлохмаченную ногами пленных; сердце, тоскою зажатое в кулак, трепыхалось неровными бросками... Глядел в каждые глаза, обведенные иссиня-черными кругами, переводил взгляд с одного безусого лица на другое и ждал, что вот-вот в одном из этих серошинельных узнает брата Федора.

На площади, около общественного сарая, где раньше ссыпался станичный хлеб, пленных остановили. Увидел Митька, как на крыльцо правления вышел отец, левой рукою теребя темляк на шашке, гаркнул:

— Шапки долой!..

Медленно-медленно сняли красногвардейцы шапки, стали, свесив лохматые головы, изредка перешептывались. Опять знакомый грозный голос:

— В ряды стройся!.. Да живо, красная сволочь!

Шуршат, переступая, босые ноги. Серая шеренга измученных лиц до крыльца правления протянулась.

— По порядку рассчитайсь!..

Осипшие голоса. Заученный поворот голов. А у Митьки в горле судороги, жалость к этим как будто чужим людям, жалость до жгучей боли, до тошного удушья, и в первый раз за всю жизнь ненависть едкая к отцу, к его самодовольной улыбке, к рыжей щетинистой бороде.

— В сарай — шагом — арш!..

Пошли по одному в раззявленное черное хайло дверей. Последнего, низкорослого, шатающегося, ударил Митькин отец ножнами шашки по голове, обвязанной кровавой тряпкой; пробежал тот, спотыкаясь и раскачиваясь, шагов пять и тяжело упал вниз лицом на жесткую, утоптанную ногами землю. На площади хохот, гуд голосов, глаза, сузившиеся от смеха, бабьи рты, захлебнувшиеся слюнявым смешком, а Митька вскрикнул надорванно и глухо, лицо закрыл похолодевшими ладонями и, натываясь на людей, побежал по улице.

IV

Мать возится у печки, кончает стряпаться. Подошел Митька боком, сказал, глядя в сторону:

— Маманька... испеки пышек... я бы отнес энтим, какие в сарае сидят... пленным.

— Отнеси, сынок, может — и наш Федя страдает где... И у пленных матери есть, тоже небось вочами подушки не высыхают.

— А как батя узнает?

— Не приведи бог! Ты, Митенька, вечером отнеси. Какие казаки стерегут, отдай им и скажи, чтоб передали...

Солнце, как нарочно, замедляет шаг и ползет над станицей, равнодушное к Митькиному нетерпению и невозмутимое. Насилу дождался, пока спустится темнота, прошел на площадь, ящерицей скользнул между проволочной огорожей и к дверям, а сам рукой придерживает за пазухой узелок с харчами.

— Кто идет? Стой! Стрелять буду!..

— Это я... харчи пленным принес.

— Кто такой? Проваливай, пока приклада не пробовал! Черт тебя носит по ночам! Дня тебе мало харч носить?

— погоди, Прохорыч, никак, это комендантов парнишка?

— Ты Анисима Петровича сынок?

— Да...

— Тебя кто же с харчами прислал? Отец?

— Не-е-ет... Я сам.

К Митьке подошли двое казаков. Старший, бородатый, ухватил Митьку за ухо.

— Тебя кто, пашенок, научил харчи пленным таскать? Ты того не можешь понять, что они нам есть самые вредные враги? А ежели я про эти дела батяньке твоему доложу? Он как за это тебя примолит?

— Брось, Прохорыч! Жалко тебе чужого хлеба? В два горла жрать все равно не будешь, возьми харчишки, передадим!

— А ежели Анисим Петрович про то узнает? Тебе рассусоливать хорошо, ты один, а у меня семейство. За подобные дела на фронт пошлют, да к тому же и розог всыплют...

— Да ну тебя к черту, расплакался!.. Эй, парнишонки, ты куда же удираешь? Тащи свои харчи, передам, что ли.

Передал Митька молодому в руки узелок; нагнувшись, шепнул тот ему:

— По средам и пятницам я дежурю... Приноси.

Каждую среду и пятницу вечерами приходил Митька на площадь; стараясь не зацепиться за колючую проволоку, лез через огорожу, передавал часовому узелок и возвращался домой, пригибаясь у плетней и оглядываясь.

V

Каждый день, как только над станицей золотисто-рябым пологом растопыривалась ночь, из сарая выводили кучки пленных красногвардейцев и под конвоем гнали в степь — к ярам, закутаным белесым туманом. До станицы ветром доносило отзвук трескучего залпа и реденькие винтовочные выстрелы. Когда пленных уводили больше двадцати человек, следом, поскрипывая колесами, шуршала пулеметная тачанка. Номера дремали на широких козлах, кучер блестел сигаркой и лениво шевелил вожжами, лошади переступали неохотно и разнобоисто, а оголенный пулемет, без чехла, тускло блестел дырявой пастью, словно зевал спросонок. Спустя полчаса где-то в ярах пулемет сухо и отрывисто татакал, кучер полосовал кнутом взмыленных, храпящих лошадей, номера тряслись, подпрыгивая на козлах, и тройка лихо останавливалась возле комендантской, глазевшей на сонную улицу тремя освещенными окнами.

В среду вечером отец сказал Митьке:

— Ты все лодырничает? Веди-ка нынче в ночное Гнедого, да смотри — в хлеба не пущай! Только потрави у меня чей-нибудь хлеб, я тебе всыплю чертей!..

Обротал Митька Гнедого, матери успел шепнуть:

— Отнеси, маменька, харчи сама... Отдашь часовому.

Уехал вместе со станичными ребятами на отвод, за атаманскую землю. Вернулся на другой день утром до восхода солнца. Отворил калитку, скинул с Гнедого уздечку, хлопнул его по пузу, припухшему от зеленки, и пошел в хату. В кухню вошел — на полу и на стенах кровь. Угол печки в чем-то кровависто-белом. Из горницы клопочущий хрип, мычанье... Переступил Митька порог, а на полу мать лежит, вся кровью подплыла, лицо багрово-пухлое, волосы на глаза свисают кровавистыми сосульками. Увидала Митьку, замычала, задергалась, а сама слова не скажет. Мечется в распухшем рту посинелый язык, глаза смеются дико и бессмысленно, из перекошенного рта розоватые пузырьчатые слюни...

— Ми... ми... тя... тя... тя... тя...

И смех глухой, стонущий...

Упал на колени Митька, руки материны целовал, глаза, залитые черной кровью. Обнял голову, а на пальцах кровь и комочки белые слизистые... На полу около валяется отцовский наган, рукоятка в крови...

Не помнит, как выбежал. Упал возле плетня, а соседка из своего двора кричит:

— Ой, убегай, сердешный, куда глазынька твои глядят! Узнал отец, что мать носила пленным харч, убил ее до смерти и на тебя грозился!

VI

Месяц прошел с тех пор, как нанялся Митька в бахчевники. Жил в шалаше на макушке горы. Видно оттуда молочно-белую ленту Дона, станицу, пристывшую под горою, и кладбище с бурыми пятнышками могил. Когда нанимался, шумели казаки:

— Это Анисимов сын! Не надо нам таких-то! У него брат в Красногвардии и мать, сука, пленных кормила. На осину его, а не в бахчевники!

— Он, господа старики, платы не просит. Говорит, за Христа ради буду стеречь бахчи. Будет ваша милость — дадите кусок хлеба, а нет — и так издохнет...

— Не дадим, нехай издыхает!..

Но атамана все же послушались. Наняли. Да и как же не нанять обществу мирского батрака: никакой платы не просит и будет стеречь станичные бахчи круглое лето за Христа ради. Прямая выгода...

Поспевали, пухли под солнцем желтые дыни и пятнистые полосатые арбузы. Понуро ходил Митька по бахчам, пугал грачей криком и звонкоголосой трещоткой. По утрам вылезал из шалаша, ложился около стенки на перепревший бурьян, вслушивался, как за Доном бухали орудия, и долго затуманившимися глазами глядел в ту сторону.

На гору мимо бахчей, мимо обрывистых меловых Яров гадючьим хвостом извивается кочковатый летник. По нему сено возят летом станичные казаки, по нему гоняют к ярам расстреливать пленных красногвардейцев. Ночами часто просыпается Митька от хриплых криков и выстрелов внизу, за левадами, за густою стеною верб, после выстрелов воют собаки, и по летнику громыхают шаги, иногда стрекочет тачанка, тлеют огоньки папирос, говор сдержанный доносится. Как-то ходил Митька туда, где путаным узлом вяжутся извилистые яры, видал под откосом засохшую кровь, а внизу, на каменистом днище, где вода размыла неглубокую могилу, чья-то босая нога торчала; подошва сухая, сморщенная, и ветер степной, шарящий по ярам, вонь трупную ворошит. С тех пор не ходил...

В этот день из станицы по летнику шли толпою раньше обыкновенного: по бокам казаки из конвойной команды, в середине они — красногвардейцы в шинелях, накинутых внапашку. Солнце окуналось в сверкающую белизну Дона медлительно, словно хотело поглядеть на то, что не делалось при дневном свете. В левадах на верхушки верб черной тучей спускались грачи. Тишина паутиной расплелась над бахчами. Из шалаша провожал Митька глазами до поворота тех, что шли по летнику, и внезапно услышал крик, выстрелы, еще и еще...

Выскочил Митька из шалаша на пригорок, увидел: по летнику к ярам бегут красногвардейцы, а казаки, припав на колени, суетливо стреляют, двое, махая шашками, бегут следом.

Выстрелы звоном будоражат застывшую тишину.

Тук-так, так-так... Та-та-тах!

Вот один споткнулся, упал на руки, вскочил, опять бежит... Казак ближе, ближе...

Вот, вот... Полукружьем блеснула шашка, упала на голову... рубит лежачего...

У Митьки в глазах темнеет и зноем наливается рот.

VII

В полночь к шалашу подскакали трое конных.

— Эй, бахчевник! Выдь на минутку!

Вышел Митька.

— Ты не видал вечером, куда побегли трое в солдатских шинелях?

— Не видал.

— Смотри не брешь. Строго ответишь за это!

— Не видал... не знаю...

— Ну, делать тут нечего. Надо по ярам до Филиновского леса ехать. Лес оцепим, там их, гадов, и сцапаем...

— Трогай, Богачев...

До белой зари не спал Митька. На востоке погромыхивал гром, небо густо залохматело свинцовыми тучами, молния слепила глаза. Находил дождь.

Перед рассветом услышал Митька возле шалаша шорох и стон.

Прислушался, стараясь не ворохнуться. Ужас параличом сковал тело. Снова шорох и протяжный стон.

— Кто тут?

— Человек добрый, выйди, ради бога!..

Вышел Митька, нетвердо ступая дрожащими ногами, и у задней стены шалаша увидел запрокинувшегося навзничь человека.

— Кто такое?

— Не выдай... не дай пропасть... Я вчера из-под расстрела убежал... казаки ищут... у меня нога... прострелена...

Хочет Митька слово сказать, а горло душат судороги, опустился на колени, подполз на четвереньках в ноги в солдатских обмотках обнял.

— Федя... Братунюшка! Родненький...

Нарубил и перетаскал в шалаш ворох засохших подсолнечных будыльев, уложил Федора в углу, навалил бурьяну и подсолнухов, а сам пошел по бахчам.

До полудня гонял с зеленых курчавых полос настырных грачей, самого тянуло пойти в шалаш, посмотреть в родные братнины глаза, слушать еще и еще рассказ о пережитых страданиях и радостях. Твердо было решено между ними: как только смеркнется — завязать Федору покрепче раненую ногу и знакомыми стежками лесными кружно пройти до Дона, переплыть на ту сторону, к тем, у кого правда живет, кто бьется с казаками за землю и бедный народ. С утра до полудня по летнику скакали из станицы казаки, раза два заворачивали к Митьке напиться воды в шалаше. Уже перед вечером увидел Митька, как с песчаного кургана, блестящего белой лысиной, съехали человек восемь конных и шагом пустили под гору усталых, спотыкающихся лошадей. Сел Митька возле шалаша, провожал глазами сутулые фигуры верховых, — не поворачивая головы, сказал Федору вполголоса:

— Лежи, не ворочайся, Федя! Один конный бегит по бахчам к шалашу.

Из-под вороха бурьяна глухо загудел голос Федора:

— А остальные ждут его или поскакали в станицу?

— Энти тронули рысью, скрываются под горою!.. Ну, лежи.

— Привстав на стременах, покачивается казак, плетью помахивает, лошадь от пота мокрая.

Шепнул Митька, бледнея:

— Федя... отец скачет!..

Рыжая отцовская борода потом взмокла, обгоревшее на солнце лицо — иссиня-багрово. Осадил лошадь у самого шалаша, слез, к Митьке подошел вплотную.

— Говори: где Федор?

Вонзил в побелевшее Митькино лицо кровью налитые глаза. От синего казачьего мундира потом воняет и нафталином.

— Был он у тебя ночью?

— Нет.

— А это что за кровь возле шалаша?

Нагнулся отец к земле, пунцовая шея вывалилась из-под воротника жирными складками.

— А ну, веди в шалаш!

Вошли — отец впереди, почерневший Митька сзади.

— Смотри, змееныш... Ежели укрываешь ты Федьку, то и его и тебя на распыл пуцу!..

— Нету... не знаю...

— Это что у тебя за бурьян в углу?

— Сплю на нем.

— Посмотрим. — Шагнул отец в угол, присел на корточки, медленно расковырял чахлый шуршащий бурьянок и подсолнечные будылья.

Митька сзади. Перед глазами синий обтянутый на спине мундир колыхается плавными кругами,

Через минуту изо рта отца хриплое:

— Ага-а-а-а... Это что?

Босая Федорова нога торчит промеж коричневых стеблей. Отец правой рукой лапает на боку кобуру нагана. Качаясь, прыгнул Митька, цепко ухватил стоящий у стенки топор, ухнул от внезапно нахлынувшего тошного удушья и, с силой взмахнув топором, ударил отца в затылок...

* * *

Прикрыли похолодевшее тело бурьяном и ушли. Ярами, буреломом, густым терновником шли, ползли, продирались. Верстах в восьми от станицы, там, где Дон, круто заворачивая, упирается в седую гору, спустились к воде. Плыли на косу; быстро сносило нахоподавшей за ночь водой. Федор, стоная, цеплялся за Митькино плечо.

Доплыли. Долго лежали на влажном зернистом песке.

— Ну, пора, Федя! Эта половина, должно быть, неширокая.

Спустились к воде. Дон снова облизывает лица и шеи, отдохнувшие руки уверенней кромсают воду.

Под ногами земля. Застывшая в темноте гущина леса. Торопливо зашагали. Светало. Где-то совсем близко ахнуло орудие. На востоке чахло румяную каемку протянул рассвет.